****

**ВОЛОНТЁРЫ КИРКИ** 1

**Девушка бежит, бежит вдоль длинной песчаной косы с косогора вниз, пожираемая жадными взглядами волн и ветер грубо целует подол бирюзового платья, заметая со свистом следы.**

**Крики чаек глохнут пароходным гудком... Долгий, протяжный выплывает из тумана пухлым силуэтом размытой в пелене многоэтажной громады. Неуклюже, тревожно, предупреждающе как бы… и короткий - словно гвозди вбивая в уши. Чума у них там, что ли? Вроде как вывесили флаг – что то желтеющее полощется в молочновязкой пелене, точно как в Аскании-ноо в позапрошлое лето - благотворительный десант: медики, плотники, расчет полицейских, два коммерсанта, куча старых дев и репортеры, художники и даже какой то известный член Пен-клуба, прикомандированный в довесок от очередной комиссии ЮНЕСКО. А, может, и какая иная моровая язва - чего нынче не сыскать на задворках Западного мира? СПИД, катакомбная лихорадка, вирус Моло, открытый доктором Моло в окаменевших мозговых клетках какого то плезиозавра … Звук жалит в сердце и замирает, перекрываемый истошными воп­лями чаек, атакующих мусорные кучи. И через некоторое время возвращается вспять: у-у-у...**

**Вечер? Утро? Середина дня? Все они отпрыски Ночи. Мне что за разница? В здешних широтах не замечаешь времени суток - серы, как и песок, как и само море, да и сам город, несмотря на обилие неоновых реклам - «Сосиски Матадор», «Голосуйте только за Эмблу», «Теперь - не потом!» … Город, какой город? Столько дней и нигде даже и намека на название, даже и в автобусных кассах. Безымянный Серый Город, похоже, что средний по континентальным меркам с типовым муниципалитетом в четырехэтажном доме из розового камня с водостоками, свежевыкрашенной пожарной лестницей и двумя полицейскими при парадной форме на входе. Лифт - в левом крыле, второй этаж не обслуживается, да и ладно - можно спуститься на него и с третьего. И ковровые дорожки с урнами через каждые пять метров (впрочем, рядовые сотрудники используют их редко) чаще всего по краям, прижавшись к стенкам – так поспокойней. Здесь тоже спокойно обошлись без имени города, его нет даже на мраморной доске при входе и в расписании поездов у внутренней кассы Муниципалитета. Словно все стыдятся его (имени), но пусть поменяют в та­ком случае, отчего бы не поменять? Впрочем, что мне то за дело? Несколько дней (недель?) пусть даже в лучшей гостинице на площади с видом на Глав­ный проспект, бутылкой рислинга в обед и единственным на острове стриптизом в баре за высокую по здешним меркам плату еще не повод, чтобы совать без разбору свой нос в чужие проблемы (вспомни экспедицию в Аллахабад). То же заметил мне и префект, энергично тряся мою руку своими двумя, после того как я предупредительно отстранился от возможных приятельских объятий с всенепременным похлопыванием по плечам и прочим местам, сопровождаемые междометиями и прочими бессмысленными воскли­цаниями - в свое время мы оба закончили Колледж св. Игнасия, он годом позже. «Как же тебя угораздило,- посочувствовал я вполне искренне, - уж лучше в красный Шанхай, или к ...» «Я?- шмыгнул он подозрительно обиженно, как мне показалось,- я здесь родился, тут мои корни. Да и многие наши (очевидно, он имел в виду Колледж) отсюда, разве ты не знал?»**

**Знал ли? Возможно. Возможно, я и сам здешний, сейчас я, пожалуй, ничему не удивлюсь, да и что проку? И какое это может иметь значение, особенно после тех трех сумасшедших лет и вот еще немного, может, только сегодня, нет, даже, пожалуй, уже вечером, если удастся... Впрочем, подожду загадывать заранее, хоть мне и не кажется, чтобы одноглазый моряк-контрабандист мог не сдержать обещаний (он даже не запросил обычного в таких случаях аванса) - в чем-то именно его противный обезображенный облик внушал мне**

**безусловное доверие... А, может, все дело в самом Городе? Этот Город, если и мой (а с чего бы**

**ему не оказаться также и моим?) противен мне уже своим существованием - дерзкий город  
давно убитых Богов - я стрелял в них из рогаток, словно в перепелок, в моих детских сновидениях, и они падали один за другим с дерев вниз головой и непонятным курлыканьем (нет, пожалуй, это было все то же дерево, омытое мутной влагой, словно от недавнего дождя) падали и разбивались вдребезги, словно хрустальные - в его новых многоэтажках мне видятся мертвые, ныне древние капища, и во мне поднимается волна жгучего стыда величиной с небоскреб, стыда за глупый поступок в детских снах, возникает и накрывает с головой и в беззвучном реве прибоя мне слышится чье-то печальное курлыканье. Волна эта и гонит меня ныне прочь из возможно родного Города. А, впрочем, может и, не родного, я этого не помню так вот, наверняка. Возможно, серый Город всего лишь из тех же детских сновидений, перекочевавший в повседневность, сновидений, уже позабывшихся за давно­стью лет, тех самых сновидений, полных смердящими трупами ушедших с арены богов (эти самые Боги и по сей день являются мне в сновидениях, огромные, заросшие шерстью, с торчащими в обе стороны рогами или птичьей головой и кошачьим хвостом; впрочем, случаются и приятные исключения).**

**Но вот: рыжие куски, полуистлевшие останки старой проволочной изгороди, засыпанные поверх мелким шуршащим песком (точно наждачная бумага)- и тут была изгородь! Подумать только – настоящая изгородь с проволочным заграждением, по которому, могло статься и так, временами пропускали ток. И вот ныне обломки ее рассыпаны полумесяцем вдоль береговой линии чуть ли не до самого размыто­го силуэта гудящей через равные промежутки громады, белеют, точно опавшие лепестки хризантем в разъеденном морской солью воздухе, среди обрывков старых га­зет и полиэтиленовых мешочков c мусором. Точь-в-точь рассыпавшееся от времени и влаги ложе дряхлых великанов: их кости - вплоть до примитивного при­чала из нескольких грубо сколоченных просмоленных бревен, опирающихся на цилиндрики (расстояние до причала немалое) полусгнивших столбиков, скреп­ленных для надежности толстым кабелем, откуда снова доносится длинный, хриплый, застывший на непонятной мертвой ноте гудок, прорывающийся урывками сквозь пелену тумана, треплющий ветром обрывки старых газет, вдавленных в песок криком потревоженных чаек.**

**И - песни волн... Стоит закрыть глаза, как сердце распахивается зияющей бездной, всасывающей в свою ненасытную утробу и прибрежный песок, и морскую ширь до самой линии горизонта, и воровато встревоженный (всего-то на пару каких то мгновений - не более) взгляд префекта, когда, провожая из кабинета, ухитрился таки нажать украдкой на какую то кнопку в выдвинутом ящике письменного стола – от охватившей внезапно неловкости лицо вытягивается, изображая дебильное непонимание (защитная маска или реакция - до конца не понять) И, кажется, успешно: в следующее мгновение Эмбла снова становится прежним, сердечным, как во время студенческих попоек – в меру грубоватый, чуть неотесанный, но взамен с распахнутым задом (студенческое еще выражение) и с налетом сентиментальности, порой до тошноты как на горном озере, когда все мы, упитые до посинения в глазах, валялись в беспорядке на берегу и в желудке у каждого клокотал этанький крохотный, карманный что ли, кусочек ада - конечно же, нам было не до поэтических чудес ночного неба, где звезды, что твои колеса "вос­хитительно озаряют сиянием мрак", какие уж тут ко всем чертям звезды! Эмбла, Эмбла! Что за шхуна гудит, зазывая на пир, то бишь на борт? Вечер-утро, утро-вечер: точно могила мерещится в тумане, сочащемся из расколотого надвое неба.**

**\* \* \***

***” … и играли в тавлеи могучие девы…***

***Гудкам внимайте священные роды!”***

**Чахлый кустарник один по самым краям тропы, вымощенной остатками битого кафеля – низкий, пригнутый к земле: нет места траве в здешних краях, не растут они ныне и тут. И песни волн... О, девы, играющие в тавлеи в заброшенной сторожке, далекой от солнца с распахнутой настежь обращенной к северу дверью! Ваш облик хрупкий и милый, уношу я отсюда с собой вместе с потрепанным чемоданчиком с кругом копченой колбасы и парой белья на дорогу. Я, мерзостный тролль в поисках утраченной тропинки, единственный из рода, изошедшего в распрях и дрязгах, капля за каплей сочащихся из пасти заснувшего змея. Да благословенна и проклята будь ваша сторожка, последний приют, остановка перед предстоящим путешествием в незаданном направлении! Вам – оставаться.**

**И девушка (похоже, из тех, играющих, но, может, я и ошибаюсь) бежит и исчезает, уменьшаясь в размерах за дюнами, и только застывший на мгновение в  
воздухе ее непорочный запах остервенело теребит ноздри. Что еще? Грубо и  
вкось сколоченная стрелка на вбитом в рыхлый песок шесте, указатель на фанерной скошенной вбок ножке: “Wasser… Время и сырость съели остаток надписи  
(готическая, с завитушками по краям, точно из детской немецкой книжки: Ох, Муттер, либен Муттер!..) От нее и вдаль, мимо покосившегося (о, кривой мир, кривой на один глаз!) причала с поджидающим терпеливо Левиафаном и далее, по самый горизонт - длинная вереница следов, шагающих извилистой змейкой в рыхлолипучем лесу, следов, уводящих за край, где кончаются тучи, кичащиеся невозмутимым безволием под неусыпный рев Океана. Стон Посейдона, наместника Северного Зевса в огромной красной шапке-ушанке со звездой Соломона: точь-в-точь Санта Клаус с витрины - с огромным румяным носом и мешком барахольщика. Шаг вправо - шаг влево на случай, если Эмбла приставил таки (даром он нажимал кнопку, что ли?) к моей скромной персоне пару незаметных соглядатаев, ему это извинительно, из кабинета на четвертом этаже Мир ведь виден совершенно иным, не стоит и удивляться, и без шпионов он попросту немыслим, особенно, если дело касается вечно небритой личности. Личности, из которой так и прет неблагонадежностью - личности, непомнящей и родного города. Как же иначе?**

**Странно, похоже, что причал все время остается на своем месте, сколько не двигайся в его направлении. Или, может, все это только кажущееся, специфические свойства тумана в данной местности, или какая иная оптическая аномалия? Примеры тому известны (например, мираж или Замок Кафки). Скорее всего, истина лежит где-то посередине (Скажем, не двигаюсь я сам или, что более доступно, кружу на одном месте). Интересно, что точно так любил выражаться в свое время сам Эмбла, еще тогда, в колледже. Судя по его теперешнему положению, трудно даже поверить в это - с какой неосознанной любовью поглаживал он телефонный аппарат в течении всего разговора! Скорее всего, его истина проклюнулась уже окончательно, дай ему лишь Бог сохранить уверенность в своей истине (некоторые называют мертвую истину догмой; понимают ли они, о чем выказывают убеждение?), а, впрочем, что от него теперь зависит в этом плане? Разумеется, во всем прочем очень и очень многое - город хоть и серый, но достаточно огромен, властвовать над ним - штука нешуточная. Многое, но не свое: как у тех великанов, не имевших Судьбы. Не правда ли, странно - судьбы не имевших? Ведь как то они были в мире, почему бы не назвать это Судьбой? Тут, скорей всего, имеется в**

**виду иное - эти великаны не имели собственной судьбы, другими словами, они были чем-то наподобие чиновников, возможно, и первыми чиновниками на свете. Ведь судьба чиновника совершенно тождественна судьбе места, которое им занято и вовсе не зависит (или практически не зависит) от занимающей его личности. Максимальное, что ей доступно, так это пересесть на место повыше (иногда - ниже, но сути дела это не меняет). Но и это место опять**

**таки чинов­ничье, с собственной судьбой - в жизни имеются пути, на которые попадаешь лишь однажды, но попав на оное, с него уже не свернешь. Так дай ему, повторяюсь, Бог силы, считать своей собственной судьбу места - змеем сраженный, достоин он слов сожаленья и дозированного количества слез на собственной панихиде - такова уж в данном случае судьба.**

**\* \* \***

**И вечер, и утро, и середина дня…**

**Но что за пёс лает так громко– вот-вот сорвется с привязи: словно неукротимое пламя рвется из пасти наружу? Лай нестерпимый доходит до неба гла­шатаем над всем побережьем, возвещающим мой приход. Если Эмбла и в самом деле приставил своих соглядатаев, их не может не привлечь столь яростный вой, представляю себе, как обрадуется Эмбла – таким людям былые друзья тягостны в первую очередь, да это и понятно - разве бы я не испытывал подобных чувств буде сам чиновником? Что это - сказать трудно. Возможно, зависть, в которой не признаешься и самому себе, возможно - презрение, подобное презрению арийца к недочеловеку, презрению с изрядной примесью комплекса вины и власти, ужа­сающий, сквозящий свист двойного бича. Ведь любая власть, даже самая ничтожная, неумолимо вызывает в чиновнике - не может не вызвать! - соответствующую толику означенного комплекса; оттого-то не так просто взять и отказаться от власти - ведь в этом случае остаешься один на один со своим комплексом, тут недолго и свихнуться. A, возможно, и то и другое разом (и зависть, и презрение), оттого и скрытная ненависть - нелегко ведь жить под таким напряжением. Впрочем, лай пса достиг, пожалуй, главной цели - ста­рик, ковыляя, выходит из сторожки, щурясь подслеповатыми глазами в моем направлении. «Кто там?- но голос крепкий, властный, да и осанка, пожалуй, как у молодого, разве что опирается на палку и зрение, конечно,- Вам придется задержаться здесь на некоторое время, ничего не поделаешь. Разве его успокоишь иначе? Вишь как разошелся нынче!- старик любовно поглаживает по ощетинившему­ся загривку, точно Эмбла свой телефон,- я поставлю чай, а Вы покамест осмотритесь".**

**В каморке Старика - целый музей: с добрую сотню неуклюжих глиняных фигурок, грубое подобие людей и нецке, не оставляющих, однако, сомнений в их древнем, пожалуй, даже чересчур древнем происхождении. Большинство изрядно подпорчено: не хватает головки, ноги или части груди, пары рук, а то и вовсе один лишь торс. Фигурки в основном женские, женские до вульгарности- с огромными грудями и бессовестно прочерченным половым органом, но есть и пара-другая мужских (с не меньшей, если не большей степенью бесстыдства). Несмотря на запущенное убожество каморки, сами фигурки аккуратно разложены по ухоженным стеллажам, обитым красным бархатом, тщательно протерты и снабжены пояснительными надписями на трех языках, включая один иероглифический. "Интересуетесь древностью?- с одобрением отзывается старик, разливая чай по пиалам,- да что и говорить! Опочившим предкам память живых - дар весьма угодный Богам. Огромная ценность, вот взгляните!» Он бережно пере­ворачивает одну из фигурок. Под цоколем выгравирован археологический индекс и инвентаризационный номер British History Museum. «Все это здесь, на острове, еще с первой Войны,- старик мечтательно закатывает глаза на слове "война",- трудно пове­рить сейчас, но бритты присылали к нам специальный экспедиционный корпус из Африки - все черные как смола, но ничего у них не вышло - мы отбили все их атаки. Сколько парней полегло здесь за эти вот чурки,- он небрежно кивает на коллекцию, - приняли,**

**значит, постриг во славу, всех и не упомнишь. А какие ребята – Ганс! Штефан! Эрик Обермайер! Что лежит здесь - наш полковник ткнул в эту кучу пальцем - принадлежит одному лишь Рейху. И уехал, точнее, уплыл на под­водной лодке - его вызвали в генштаб специальной радиограммой. Кончил войну уже в чине бригадефюрера, за что в свое время его и вздернули**

**союзники. Теперь все уже забыли про эту партию, а если кто и помнит, то не имеет понятия, где их искать. А вон там,- он резко меняет тему, указывая пальцем в сторону обломков, был настоящий концлагерь, в основном для гражданских поляков, но попадались порой и местные коммунисты и попы и даже сбитый русский летчик. С этаким возвышенным названием -"Лагерная ласточка", по­чти как у Гете в «Восточном диване», если не ошибаюсь. До сих пор нет-нет, да и вылезет из песка чей то простреленный в нескольких местах череп. Оттого и не едут сюда туристы, а ведь поначалу сколько их наезжало! И, в основном, шотландцев - у них тут культовое место какое то было, наподобие Стоунхэнджа. Сейчас же кругом одни местные. Да Вы пейте чай. Кажется, и Гарм вот-вот утихомирится».**

**\* \* \***

**Столбы, подпирающие кровлю, неожиданно качнулись, и тут же все задрожало мелкой рябью. Послышался отдаленный гул, и с потолка посыпалась солома. «Случается,- старик перехватывает брошенный исподлобья встревоженный взгляд,- место здесь гнилое, беспокойное; вон там,- он проводит рукой неопределенно как-то в сторону Города,- за песчаником - сплошная топь, Слид ему имя. Кем названо - никто не помнит. А дрожит здесь часто, причем в выборочных местах, метрах в десяти отсюда - покой полный. Вы, видно, нездешний, раз это Вас так шугануло. Я, впрочем, тоже. Сюда попал еще в войну, майором зондеркоманды, так и живу здесь с тех пор. Война здешних мест по-крупному ведь не коснулась, союзники прош­ли боком, не удосужив острова и десантного взвода; лагерь к тому времени уже с полгода, как был расформирован и вывезен на материк, что им было за дело в этой дыре? Многие наши в то время заразились паникой и подались с острова, иными словами, драпанули кто как горазд. Только вот я, да эта псина… просто некуда нам с ней было. Ведь, понятно войну пускай и просрали, а от Судьбы куда убежишь? Какая разница здесь или дома – кто же примет опального? Ведь дураком следовало быть, чтобы не понять очевидного - уж нашему ремеслу, что у русских, что у союзников - цена единая. А что, мол, выполняли приказ... Верно, приказ, присяга – все это так и уклониться было невозможно, никто с этим не спорит. Но только чепуха все это, я скажу. Главное ведь вот что – приказ этот не противоречил нутру, ибо знали, как надо подбирать команду и муштровали нас со знанием дела... специалисты... Так что от того приказа всё внутри тебя пело радостью, не противоречил он и душе - ведь такого покоя, как в «Ласточке», у меня не бывало ни до, ни после... душевного покоя, я имею в виду - так работы хватало настолько, что к вечеру с непривычки, бывало, валишься с ног и все пальцы в кровоточащих мозолях. Никто ведь и в мыслях не полагал, что так вот все может обернуться, а когда пристало тому время, то дело вошло уже в привычку – что то наподобие табака, уже и не замечаешь - кровь, знаете ли, сильный наркотик. Кр­овь и власть, дьявольское варево - душат незримыми кольцами, что твой Лаокоонов удав или ехидна. Уже и разум сознает, что подло все это, убийство что ни на есть настоящее и не какого там недочеловека, а такого, как ты сам, только совершенно перед тобой безоружного. Но оттого только злишься ещё сильней и табурет из под ног выбиваешь с особенным наслаждением. A что до пыток и истязаний – в это сейчас трудно поверить, но даже под самый уже конец на них записывались загодя, столько вот желающих было помучить напоследок. Говорят, мол, фюрер. Может оно и так, но вот что я скажу: фюрера я ведь по жизни своей не**

**видел... ни разу. Разве что на портрете в кабинете начальника лагеря - не нужен он был и вовсе для моего ремесла..."**

**Старик стих, дремлет, кажется, сидя с полуоткрытыми невидящими глазами. Туманный день нехотя, точно по каплям, просачивается сквозь зарешеченное окно, выходящее на восток и, обессиленный вконец, опускается, точно роса, на обезвоженный, покрытый морщинами -словно вырезанный из камня земли - лик, стройно застывший, возвышающийся**

**над столом, напоминая чем-то молодой побег омелы. Старость и весна словно сошлись в одной точке. Осторожно, стараясь не потревожить – старики спят чутко в преддверии последнего порога – его покоя нечаянно неловким движением, встаю и продвигаюсь к выходу. Там, в проеме полупритворенной двери вырисовывается безлюдный песчаник, прерываемый извилистой береговой линией, размазанной туманом - точно земля тонет в море на том самом месте – ближе к самому краю полосы, разбивающей ее на две половинки и обозначенной тенью самодельного флагштока - словно забытое дряхлым, древним великаном из моих снов копье: побуревшая от пыли и ветров палка, воткнутая в песок с чьими то забытыми на пляже рваными черными трусами – точно пиратский парус – уликой исчезнувших безвестно дней на богом забытом пространстве. И - снова гудки, перекрывающие ровный рокот моря, врезаются в память. Овчарка заурчала.**

**Гарм лает громко,- предупреждающе раздается из-за спины знакомый негромкий голос. Я оборачиваюсь. Жидкая прядь седых всколоченных волос свисает овечьей шерстью на выпяченную старостью скулу, пряча собой левый здоровый глаз. 3ато правый, подернутый пленкой старческой катаракты, пронизывающе уставился в меня – взгляд его прорезает подобно остро заточенному клинку черную дыру в разделяющем нас пространстве, проходит сквозь меня-масло (отчего я на мгновение ощущаю себя бесплотным расползающимся призраком; ощущаю и ужасаюсь) и устремляется к горизонту, пронзая миры и время. "Гарм лает громко,- повторяет старик уже с расстановкой, как бы задумавшись,- почему Вы так торопитесь, а? Время пока не поспело. А, может, Вас напугал Эмбла?"**

**"Вы чужой,- продолжает старик, - а я уже стар и мне, собственно, безразлично, покините ли Вы остров или решите обосноваться здесь навсегда- его блудливый блуждающий взгляд словно вычерчивает руны на листе моего лица,- все это отнюдь не волнует моей крови: люди и годы обесцветили ее почти до предела. Ныне я словно умерший заживо, что чахлый скелет свой влачить обречен остаток времени до погребенья, словно проклятый всеми позор. Вы чужой, но кой от чего мне хотелось бы Вас предостеречь: не торопитесь. Смотрите!"**

**Он ковыляет к свисающему с потолка пологу и рывком резко и неожиданно, при всей его кажущейся дряхлости, срывает его с карниза. Комната моментально светлеет. Я слежу за его действиями точно завороженный кролик. За пологом открывается навстречу взору огромный прямоугольник окна, два на полтора метра, за которым все тот же унылый песчаник, заканчивающийся поодаль болотами и за последними, по моим предположениям, скрытый за дымкой Город. Метрах в тридцати-сорока от хижины два скрючившихся в неудобных позах тела, застывшие в почерневшей от отходов вязкой жидкости. Лица, обращенные в нашу сторону, покрыты бледными, расползающимися далее и по телу пятнами, точно цвет их выедается медленно вытекающей их вен прозрачной жидкостью. "Внимай!" - приказывает старик.**

**Он подходит к старому, покрытому паутиной патефону и крутит ручку. Через пару секунд помещение заполняется тихой (старик точно догадался, что я не выношу громкого шума) мелодией, что то из увертюр Вагнера, перемежаемой треском старой иглы, а, может, и пластинки. «Мессербауэр,- тихо шепелявит старик, - пляска вальки­рий".**

**Старик опускает веки, погружаясь в старческие грезы. Пламя догорающих в печке поленьев, врываясь ненавязчиво в сгущающиеся сумерки, преображает комнату в призрачный**

**колышущийся мир теней и шорохов - точно все здесь – и покрытые плесенью стены, жалкая утварь, чайник на столе, да и мы сами - сплетено из множества копошащихся змей в бледно бурых разводах. «Любо скакать им,- бормочет старик,- скачут стервы повсюду, покоряя на радость себе умы и какие! Франц, Мольтке… Ммм!"- кусает засаленный рукав, и глаза его увлажняются слезной росой. Там, за окном, те двое – по-прежнему лежат неподвижно, не дыша – как статуэтки из коллекции старика. Одного из скрюченных знаю наверняка - видел его**

**в приемной Эмблы: подтянутый, строгий, из кармана выглядывает антенна радиотелефона. Во время прощания, уже в дверях, Эмбла знаком подозвал его и шепнул что-то  
на ухо, после чего тот как бы невзначай скользнул мимо меня отрешенным взглядом и что-то шепнул в ответ. Они рассмеялись. Вот и все, после чего Эмбла рассерженно толкнул его в бок и, рассыпавшись в извинениях, мол, не надо ничего такого думать, глупый, конечно, эпизод, но что поделаешь, каждая служба имеет собственные секреты и уложения, скрытые от посторонних глаз, вот и приходится порой в ущерб элементарной вежливости... и, тем не менее, он, Эмбла, строго накажет, время еще покажет, насколько суровой будет его кара — делиться при посетителях тайным сообщением с начальством… да что это такое, в самом деле, где это видано? Провинциальный улей! Нет, нет, провинившийся должен быть сурово наказан, и, не откладывая наказания в долгий ящик, пусть это даже и самый талантливый из его сотру­дников. Тут мы стоял уже у выхода из приемной и Эмбла прервал свое словоизвержение, успевшее к тому времени порядком набить мне оскомину и, скомкав прощание, поцеловал меня по ... черт его знает по какому обряду в лоб. Когда я, опомнившись, обернулся помахать рукой напоследок, эти двое снова о чем-то напряженно перешептывались, причем со стороны мне показалось, будто Эмбла заискивает перед высоким. Меня они не заметили, или не хотели заметить. Лица их были серьезны и бледны (последнее наблюдение оставим на моей совести). Я хлопнул дверью.**

**«Вы все видели?- испуганно прошептал старик, - такие вещи случаются в  
этих краях часто, чуть ли не каждый день и с каждым разом ближе и ближе к моему  
убежищу. Эти следы, следы вокруг…- берег просто усеян следами. Кто здесь ходит? Никого не видно, но следы ведь сами по себе улика, не говоря уж о трупах? Что то они тут ищут, но хотел бы я знать, что именно. Вряд ли можно полагать, что вся эта заваруха из за моих куколок, тут нечто иное, загадка! Не будь я столь дряхл и стар – уехал бы, не задумываясь, а так,- он грустно улыбнулся и махнул рукой,- Гарм моя последняя надежда, бедный преданный Гарм, Но и тот на последнем издыхании, чтобы поддерживать его силы, приходится скармливать его исключительно свежей рыбой, причем трижды в сутки, иначе лай его слабнет. В один прекрасный день, я чувствую, они скормят ему отравленного лосося и тогда Эмбла добьется своего. Вы бы остались, а?»**

**Взгляд у старика затравленный, просящий. Я смотрю под ноги. На грязном полу причудливо извиваются меж горок мусора две тени. "Не знаю,- гово­рю (не хочется огорчать беднягу; кроме того, мне и самому не до конца все ясно),- все зависит от обстоятельств, многое пока не ясно. Откуда, скажем, Вы берете для Гарма рыбу?"**

**-"Сейчас, сейчас,- суетится старик. Видимо, учуяв мою нерешительность, торопится уяснить для себя (меня) детали, - идите со мной, Вы все увидите своими глазами".**

**Мы огибаем хижину и неспешно плетемся в сторону болота. Возле трупов старик останавливается, нагибается над ними и достает из карманов штанов тугой моток нити, напоминающей с виду леску. "Это из отходов,- поясняет он по ходу, повернув в мою сторону моток, чтобы я лучше рассмотрел его,- я сам плету его при помощи специального приспособления, попозже я покажу его Вам. Плетется она, нить эта, из свежих рыбьих кишок – славные получаются узы, да и нет под рукой иного материала. Приходится, правда, потрошить для этого рыбу - слыхали бы Вы только, как при этом мечется Гарм, так и кажется – вот-вот сор-**

**вется с привязи! Впрочем, по воскресеньям, виновато лыбится старик (или мне это просто кажется в хлипком северном вечернем освещении?),- я его балую потрохами, к этому времени образуется определенный излишек лески, должно же и это несчастное животное каким-то образом различать дни Недели. А теперь - смотрите".**

**Старик переворачивает трупы и накрепко обвязывает их конечности леской, затем сцепляет их друг с другом наподобие сиамских близнецов. Потом шарит в их карманах, доста-**

**вая оттуда одну за другой несколько тугих пачек купюр, скрепленных резинкой. "Вот сейчас готовы,- говорит он, подмигивая в пустоту, и далее торжественно,- зане усопших имя и дело звучат,- к чему он это? непонятно, от чего вдруг становится как то не по себе, зябко, что ли,- помогите". Вдвоем мы оттаскиваем трупы к небольшой лагуне, на вершину каменного, напоминающего видом глиняный сосуд, выступа. 3емля вокруг вся пропитана влагой. "Запомните это место,- назидательно произносит старик, явно рисуясь,- Струя Скамандра, Вам это имя что нибудь напоминает? Впрочем, это неважно, на случай, если заблудишься, так сказать,- он смеется,- важно другое – глубина в этом месте предостаточна, неплохой будет прикорм рыбам; форель здесь ловится прямо мешками, а в безоблачную погоду удается поймать порой и окуня». 0н медленно подтаскивает труды к самому краю, привязывает к их ногам пару увесистых валунов – все это молча, сопровождая старческим кряхтеньем, и, проверив еще раз для надежности прочность уз, сталкивает груз в море. Два приглушенных всплеска - высота здесь порядочная, метров восемь, не менее – и все стихает, лишь пузыри со дна всплывают точно пробки. Старик застывает на коленях в почтительной позе, обратясь лицом к морю и бормочет скороговоркой, словно заклинание или молитву, мне удается лишь зацепить под самый конец: «…смертелен удар, тот смертельный удар заслужил..." и далее по тексту - "...снова из моря восстанет земля, зеленная как прежде, заколосятся хлеба, а зло станет благом. Ом!'' И я, счастливый, снова услышал призывные гудки парохода.**

**«Это Вам на память,- шепелявит старик, протягивая дрожащей рукой не­большой предмет, похожий на бутылочку, вделанный в мельхиоровую цепочку, мы некоторое время идем с ним бок о бок в направлении хижины,- талисман, судя по всему. Мне то он вроде как ни к чему, Вам, гляди, и сослужит службу... нашел в карманах у Вашего знакомца, кажется?" Подслеповатая бестия, а, смотри-ка, учуял, что я опознал в одном из трупов помощника Эмблы - насколько помню, я и сло­вом не обмолвился, а, может, именно поэтому? Впрочем, все эти старики (в худ­шем случае - большинство их) – со странностями, разве что зачастую мы то­го не замечаем. Это и в самом деле медальон, я даже узнаю его - тот самый, которым обменялся в свое время с Эмблой по случаю окончания колледжа, только вот цепочка на нем была золотая. Я поворачиваю секрет, и медальон отзывается мелодичным звоном (Oh, mein Doktor O`Hillfate). Внутри - моя фотография, слегка пожелтевшая от времени, с обугленным краем и дарственной закорючкой. Я поспешно захлопываю крышку. Старик удовлетворенно кивает.**

**«У меня точно такой, - он выпячивает нижнюю губу, отчего до смешного становится похож на напыжившегося красного кочета со шпорами,- только изображение внутри – мое. Таких вещиц у меня целая коллекция, но храню их я вне дома, приходится применять меры предосторожности, знаете ли. Вы ведь знакомы с Эмблой? Не отпирайтесь, никто на острове, включая иностранцев, не может не быть с ним знаком. Страшный человек и если не пес, то я… а, ведьма! – он весь задергался и импульсивно выставил перед собой руки, словно защищаясь,- уйди, слышишь, ехидна! Уйди, ты не имеешь права…»**

**Девица, похоже, та самая, что резвилась на косогоре, объявилась незаметно из за холмика метрах в пяти от нас. Платье ее все изодрано, с волос свисают остатки морской травы с застрявшими ракушками, а под левым глазом красуется огромный синяк. Она стоит безмолвно, плотно сжав побледневшие губы, но в глазах ее полыхает какое-то совершенно дикое, безумное торжество, впрочем, быстротающее, подобное пугливому облику мечты, но мечты кровавой, неистовой. На старика, похоже, она даже не обратила внимания, точно и не видела его вовсе: ее горящие глаза имели иной объект желания, и им был я. Если откровенно, то я чувствую себя от этого весьма жутко, точно сама древность пытается вдохнуть в меня все свои заплесневевшие страсти глазами современной вельвы (ее бедра туго стянуты полуистлевшими джинсами). Старик тем временем успевает вполне овладеть собой и швыряет в нее, точно в**

**пса, плоским подобранным с земли камешком. Она резко оборачивается, плюется и убегает, успев, однако, прокричать на прощание, как мне показалось, с угрозой хриплым голосом: «Когда гневятся мертвые, живых посещают лютые язвы. Я еще вернусь и спасу тебя». Последние слова вроде как в мой адрес, я ощущаю их магический жар на своих щеках. Старик, грязно ругаясь, плюется в ответ. Гарм заливается снова.**

**«Цыганка,- произносит он сквозь зубы с ненавистью,- шляются тут то гурьбой, то поодиночке. Да разве при фюрере такое было возможно?»- голос его дрожит то ли от возмущения, то ли от беспомощности. "Новые власти на все смо­трят сквозь пальцы, и Эмбла - в первую очередь. А ведь вначале подавал надеж­ды, приглашал даже в советники и нередко наведывался на чашечку чая, пока его изрядно не покусал однажды Гарм. Вот, смотрите,- старик протягивает мне затасканную фотографию. На снимке и в самом деле некто изрядно схожий с Эмблой (по крайней мере, тем, которого знал еще по студенческим годам) рядом с худощавым высоким мужчиной в черных трусах с редеющими под ежик волосами и характерным шрамом через всю щеку – похоже, действительно, мой теперешний собеседник. Глаза его прикрыты солнечными очками в толстой массивной оправе (как время старит человека! И каждого - на свой лад). У ног мужчины прямо на коврике примостилось и вовсе юное создание, девочка лет тринадцати от силы, в бирюзовом ситцевом платьице и огромным трехцветным бантом. Фотография цветная, но проявка оставляет желать лучшего. Несмотря на это, не подлежит никаким сомнениям густой огненно рыжий цвет пышной, растрепанной точно ветром, копны ее волос, а вот зелень подведенных глаз не убеждает. Ее тоненькая хрупкая ручка гладит по косматому загривку высунувшего, ско­рей всего от жары, язык щенка (Гарма). Приглядевшись повнимательней, подмечаю тончай­ший легкий пушок над верхней губой девы - местами проявка сохранилась просто великолепно - ведь уменьшение в масштабе на фотографии весьма существенное для подобного рода деталей. Старик, зло щурясь, перехватывает мой изучающий взгляд, рвет из рук фотографию – «я имел в виду только Эмблу, зачем же шпионить, пялить глаза на остальное?» И я, размахнувшись, бью его наотмашь по щеке.**

**Старик ползает на корточках, размазывая по щекам слёзы, причитает,- «я разве враг, что заслужил сей рукопашный суд? 0, горе горькое!» «Ладно,- говорю, рассмеявшись,- вставай, пошли. Слышишь? Гарм надрывается, требуя рыбы. Я помогу». «Поможете?- недоверчиво спрашивает он,- но как?» Молча жму плечами". Ясное дело,- говорю,- покажете, где у Вас тут сети". "Нет у меня сетей,- старик смотрит на меня с отчаянием,- да и зачем Вам они?" В глазах у меня вдруг темнеет, словно находит старая порядком подзабытая хворь, вгрызается в плоть острыми зубками, и к горлу комком подступает тошнота. Девица с косогора выглядывает уже из за изгороди, прыскает, прикрыв рот рукой, строит глазки. Старик подхватывает мелко дребезжащим как по стеклу смешком. «Вы не приживетесь здесь,- замечает он, поднимаясь на ноги,- зря я так разволновался. Чужой Вы, вроде как отчего дома изгнанник, что ли. Такие все уезжают. Не печальтесь, раз на то пошло, откроюсь - я и сам чужак, оттого Эмбла меня и недолюбливает, даже жену увел по той же причине. И эту вот дрянь вот…» Девушка снова исчезает, и мы остаемся одни под промозглом до костей хмурым северным небом. "Идемте,- теребит за рукав старик,- Вы ведь не до конца все знаете, а уехать, если Вам суждено выбраться восвояси, Вы успеете всегда,- слышите, как гудит?" Мы напряжённо вслушиваемся в**

**звенящую в ушах тишину, чуть подёрнутую шелестом волн. «Идемте же, Вы меня очень обяжете этим».**

**От шеста с трусиками мы сворачиваем под углом вправо и выходим прямиком к будке, похожей на незамысловатую деревенскую уборную. Старик буквально врывается внутрь и возле отверстия на полу я, к своему удивлению, обнаруживаю совершенно новенький пластмассовый аппарат. Он накручивает номер с озабоченно деловитым видом: "Станция? Алоу! Здесь 93-ий. Да, да, и как всегда - полтора пуда свежей форели в двух мешочках. Нет, ни**

**коем случае, на худой конец в бочонке и не позже, чем к утру. Деньги, как обычно, под ковриком. Сколько? Оставьте квитанцию".**

**Солнце тем временем потухло и на живых пал мрак... Пока мы добираемся до хижины небо уже густо засеяно звездной пылью. "Вы не обольщайтесь,- предупреждает старик, покончив промывать косточки муниципалитету - судя по всему, рыба подорожала снова,- ночи в этих краях, как правило, прозрачны, но улететь Вам все равно не удастся - если к утру и не соберется туман, самолет не вылетит даже в этом случае: они уже лет десять как никуда не летают и при любых погодах. Да и куда им летать, сами посудите: навигационные карты давно утеряны, а последний диспетчер умер уже лет как пять исполнится скоро. А Вы все же остались бы, а?**

**Жалостливый вопрос звучит для меня несколько неожиданно и застигает потому врасплох – пусть и не в первый раз за вечер – тогда я принял его за шутку, но сейчас меня вдруг охватили сомне­ния. И в самом деле, отчего бы не остаться? Куда меня тянет все время? 3еленый непритязательный островок с в меру самовлюбленным префектом, тихие и суровые люди – таким не в их правилах соваться в чужую жизнь - и море, бескрайнее море, серое море в преддверии гиперборейских долин, море, в котором не обязательно купаться, достаточно ограничиться молчаливой беседой. Мне некстати припоминаются слова молитвы - вздымается снова из моря земля, зеленая как прежде. Мир словно исчезает в этих широтах и остается один остров, одно мо­ре, хижина на берегу и громко лающий Гарм, выслуживающий свою порцию рыбы... Даже невеста, если подумать... Зеленоглазая, как и сам остров, со свисающими с ушей водорослями. Русалочка Андерсена…**

**\* \* \***

**И змей бьет о волны хвостом... 0, волны, кружащие на месте утлый наш челн…  
 - Тягостно ныне в мире блуда,- тихо говорит старик. Мы сидим за грубо сколоченным столом из пахучих сосновых бревен при свете керосиновой лампы - как сладок её запах, словно пахнет из детства.- «Город - вот имя оно и зверь багряной Эмбла,- в старике просыпается проповедник, бормочет и бормочет себе, кидая по сторонам озабоченные взгляды, как, мол, откликнусь,- и девка эта вот блудница, как и ее мать. А сколько их на свете, таких вот городов - звезды в небе - города на земле: рождаются, застраиваются и умирают, уходя под землю – точно как люди. Всему свое время. Род и города… приходят и уходят и остаются одни звезды, холодные, светлые, надменные… И еще язык, язык, злословящий в ответ злоязычью».**

**Речь старика становится всё бессвязней. Штоф опорожнен уже на три четверти (второй штоф). Веселье пролило свой хмель, но в весьма стародавние чаши, оттого и хватило за край. Селедочные хвосты плавают в соусе из водки и растительного масла. "Я все расскажу про Эмблу,- бормочет он,- настанет вре­мя и скажу всем... время блуда и блудниц, скачущих нагишом и вприпрыжку под мертвенным мерцанием лун, творящих плач по острову, бия себя в груди, точно арийские жёны. Притворщицы! Последний срам отцов. Каково, а? А теперь спать, - он решительным взмахом сбрасывает на пол со стола кружку, миску с остатками овощей, кро-**

**шки хлеба и сала, табак вместе с коробочкой, томик Гамсуна - спать, спать, спать. Глубоко под землей спят наши заступники и... Guten Tag, Fraulein Helen… Стерва! Helena!**

**"Нализался,- в голосе русалки сквозит нескрываемое отвращение. Синяк под глазом старательно замазан кремом, а вместо водорослей извивается аккуратная алая лента, вплетенная в пышную косу,- помогите, надо бы перетащить его вниз. Нет, нет, в погреб – только там ему будет покойно, ближе к его заступникам. Держите же за ноги. Чей укус ядовит,- смеется,- тот смертельный удар заслужил. Гидра!"**

**Погреб на удивление сух: кубической формы бункер, масса бетона, стены тщательно выбелены масляной краской – судя по запаху – совсем недавно, может и сегодняшним утром.**

**Электрическая лампочка ватт в 60 прикреплена скрученными, опасно оголенными в нескольких местах проводами к потолку. В правом углу – вентиляционное отверстие, наглухо заколоченное, впрочем, фанерой. Под ним - устланное соломой ложе. Рядом на стене портреты – фюрер и Эмбла, оба с пустыми выцветшими взглядами, устремленными вдаль в одну и ту же точку, туда, где висит Политическая карта Старого Света времен, похоже, расцвета третьего рейха. Аккуратными синими линиями заштрихованы плоскости Польши, Севера Франции, протектората Чехии и Моравии, Норвегии и, несколько неожиданно, даже Украины. В уголке - размашистая подпись "Генрих Гиммлер", подделка, судя по всему, уже хотя бы потому, что всемогущий шеф СС не выносил цвета синих чернил. Тут же на гвоздике - вымпел, исполненный в виде штандарта со свастикой, сельскохозяйственным инвентарем эпохи еще Средневековья и две руки, сошедшиеся в крепком рукопожатии. Чуть поодаль на специальной подставке – запыленное распятие из фарфора. Под ней - прикрытый рогожей ночной горшок. Напротив изголовья - огромная картина, вправленная в массивную раму, покрытую бронзой: Гитлер на оxoтe в 0берхаузене, как гласит надпись на медной табличке, привинченной к раме двумя болтами. Размеры 2x1,5м. Рот фюрера застыл в искривленной усмешке, а в левую руку вцепился охотничий сокол. Глаза, однако, как и всегда холодны и бесцветны. Взгляд, минуя по пути распятие, упирается в переключатель. В правой руке он держит меч (Зигфрид?), левой заодно вроде как гладит овчарку по загривку (в пасти овчарки, само собой – рыба, похоже, лосось). Чуть поодаль расположился на траве генералитет с похожим на Бормана толстяком – похоже прототипом послужил Эмбла: знакомая припухлость губ с выражением телячьей восторженности в глазах. И над всем этим великолепием в облаках витают летающие, похоже, что голые, девки, изображающие, как видимо, валькирий. Все толсты как на подбор по мерке Рубенса. Шестым чувством я ощущаю спиной изумрудный взгляд русалки. «Его мазня?- вопрос мой звучит сконфуженно, неубедительно в полной тишине, отмеренной храпом старика. Русалка беззвучно хохочет. "Закатайте ему рукав,- говорит она в унисон с подзуживающим кивком,- закатайте, не бойтесь - он не почувствует. Так, так и до са­мого плеча. Испытаем мужа мощь (с издевкой). Теперь то вы поняли?" "Что?- ис­кренне удивляюсь я,- что я должен понять?" "Пошли отсюда,- она шепчет валь­яжно умеренно,- не место тут для споров - старик дремлет чутко, это он только притворяется,- она кивает на храпящего,- что это c Вами, так побледнели?"- и увлекает меня за собой наверх.**

**\* \* \***

**Марш валькирий: звучит громче, громче и ближе. Ночь, в которую срываются с неба светлые звезды. Весьма напыщенно. "Останься,- шепчет, подвинувшись вплотную,- вера моя чует - ждет нас радость. Останься, останься, останься…"**

**Лунный свет заливает ее рябое от оспы юное тело."Ты весь дрожишь, ми­лый, накрой-**

**ся, или нет, я накрою тебя собой, прикоснись же рукой к моей заднице". О, юные девы, злые жены, покоряющие умы; рябое тело в бликах луны точно чешуя русалки. Бежит с косогора вниз и музыка резко обрывается. "Отчего ты молчишь, будто рыба, мой милый молчун? О!.. Вот я, найдешь ли иной сестры брат?"**

**"Почему ты смеялась?- спрашиваю, вспомнив, гладя русые волосы, пахнущие еще тиной и сельдью,- что такое с рукой старика, что все это значит? И трусы на шесте, чьи они? Твои слова там, на пляже, ты точно грозила мне чем то, а, может, хотела предостеречь? Мне трудно самому во всем разобраться. Я восхищаюсь тобой, дитя морского дна, русалочка! Восхищаюсь твоими стройными ногами, пленительным изгибом таза, даже рябым телом и мне… мне все это непонятно и теснит в смятении душу..."**

**Она вновь заходится в смехе, потягиваясь во весь рост и обнажая непри­стойно неровные зубы. Смех переходит взахлеб, лицо ее синеет, словно давясь собственным хохотом.**

**"Я твоя русалочка,- шепчет, отдышавшись, щекоча шею,- по-вто-ри-ка: ру-сал-оч-ка. О, мой Феб, владыка! Старый колдун зовет меня цыганкой - не верь ему - противный он и стар, вдобавок, разит он него невыносимо псиной, ведь так же? К тому же он - из семьи мельника, да и сам был им некоторое время до войны. Тут тогда стояла мельница, на месте этой вот самой хижины, еще сохранились и фотографии. И, знаешь, кто мне их показывал? Эмбла, префект. Я ведь была некоторое время его наложницей, разве старик не наябедничал об этом? Жили они зажиточно, почти роскошно, я бы сказала, хоть и копались день-день­ской в белой пыли, точно в пудре. Так, значит, старик ничего такого не рассказывал? А, впрочем, чего ожидать от сумасброда, выжившего из ума, к тому же наследственного мельника в прошлом, вообразившего ныне себя немцем? Ещё, о еще! Не покидай меня, не уезжай с острова, разве ты не страшишься хоть чуточку, признайся, а? Вдруг там ничего не окажется – волны, волны, одни лишь волны без конца и края? Пусть я и дурочка, но ведь мо­жет же случиться и так. Откуда во всех вас уверенность, что есть что то еще в этом мире, кроме острова? А если и есть, разве ждет там нас кто? Останься и пусть старик уезжает сам, ты понял меня? Мечта его – чтоб ввел кто меня в свой мужнин дом, ох-хо щекотно! Ты защекочешь меня до смерти, красавчик. Ну что ты, притомился? Полежи ка вот так, голову чуть повыше. Это все с непривычки, здесь воздух особый – от него и мигрени по утрам, но к этому быстро привыкаешь, да. Если ты останешься, то уедет старик, ты понял меня? Потому то он и уго­варивал тебя остаться, разве это не ясно? Оставайся же, одна здесь лишь за­бота – следить за Гармом, чтобы не вырвался ненароком, но и это я готова сделать вместо тебя. Главное, чтобы в хижине был свой мужчина, в чьей печали нашла бы я соучастника. Ты не против? Но этот твой, о, Господи! Немец! Негодный старикашка! Конечно же, он это и нарисовал, то самое непотребство на стене - столь маразматичная мазня никак уж не могла быть состряпана руками настоящего немца, чего стоит один лишь сюжет с летающими проститутками из местных борделей или тот толстый фрукт в гражданском, подозрительно смахивающий на здешнего префекта! А немца того, настоящего, он и убил, убил собственными же руками, когда в том отпала необходимость, уже в самом конце войны; что их так связывало между собой - кто знает? Ведь немец тот самовольно остался на острове уже после того, как эвакуировали лагерь, больно уж все это попахивает дезертирством. И именно мельник - к тому времени он снова стал мельником, одним из немногих, кого немцы не прихватили с собой или не ликвидировали при эвакуации - спрятал его от своих же в то смутное время - за то, что немец в свою очередь спас его годом раньше, вызволив из лагеря интернированных лиц, где тот буквально подыхал с голода - что такое лагерный паек для бывшего мельника, это ведь сейчас он кажется таким изнеможенным, а тогда… Покойная матушка часто жаловалась на его чрезмерную прожорливость и все там прочее. О, мать, о, злая мать моя!.. Ох, ты делаешь мне больно, отпусти, нет, не так, не насовсем, нет! Умерь, молю, свой дикий бег - ты точно необузданный мальчишка или изголодавшийся монах-пустынник, есть такие монахи, знаешь? наподобие пауков - чёрные, мохнатые и внутри у них полная мошонка яда. Странно, тебя совсем не уди-**

**вило, что матушка была замужем за стариком, ты воспринял это как данность, да, милый? Я рада, бесконечно рада, переполнена дотла этой радостью. Слушай, а, может, я с тобой уеду, а старик останется, оставим его в дураках, хочешь? И некому будет выносить за уродом его вонючий ночной горшок, вот умора! Но что за бред и морок я несу, лопочу, точно несушка? Это ты сводишь меня с ума своими безумными ласками. Нет, ты невозможен, мой пустынный монашек - в какое-то одночасье ты стал моему безматернему сердцу точно за мать - да, да, в твоих ласках я слышу эхо ее тихого голоса. Хочешь, я буду называть тебя - нет, молю, разреши мне это - Каракуртом - похоже и на турка и на немца одновременно... Немец, немец... я, кажется, что-то говорила о нем? Лежит сейчас наш немец иссохшим скелетом под высохшим деревцем, устремивши неподвижный взгляд в пустоту неба, лежит на спине, прикованный к**

**ство­лу ржавой цепью. Утром я сведу тебя и нему, хочешь? Сейчас, в темноте, там ни черта не разобрать... Лежит и постоянно смотрится в небо пустыми глазницами, точно романтик – немцы, они ведь так переполнены с ног до головы сентиментальщиной - не смешно ли все это? А цепь вся успела покрыться ржавчиной... Ну иди, иди ко мне, я вся точно комок грязи в руках горшечника, в твоих изнеженных руках. Такой огромный ком бесформенной грязи, плоть от плоти зе­мной, один философ обучил меня этому в обмен на мою науку. Совсем как ты вот сейчас, обучаешь меня искусству молчания, точно необъезженную кобылицу, хоть все это и неправда, но слова ведь, какие красивые! Чего не сделаешь в иной раз ради красивого слова! Красота соблазнительна, а, значит, права - ина­че мыслят одни лишь ханжи или импотенты. Скажи, ведь ты не ревнуешь меня к префекту? Не надо, милый, это совершенно разные вещи, ведь что мне приходится проделывать с префектом – это почти как гражданский долг, все равно как фатерлянд у немцев... смешно, фатерлянд - страна отцов, так и воняет за версту эротикой. Или я не права? Эти немцы такие сентиментальные зануды! Родина, долг, дойчмарка. Миллионы немцев боготворили Гитлера, потом дойчмарку Аденауэра, свободу предпринимательства, рок-н-ролл... Свобода предпринимательства, какое, кощунство! Можно ли представить себе два более неподходящих друг другу слова в одной связке? А в итоге - все тот же фатерлянд, но в другой упаковке, разница лишь в этикетке. Свобода? Да она не снилась немцу и в диком сне, а если и снилась, то уж непременно при мундире или в чем еще наподобие этого. Дойче зольдатенн, прусская муштра – буде то армия, бизнес (и этому обучил меня приезжий немец тоже из философов) или семья и даже проститутка. И тот немец, которого прикончил мельник, ничем от своих не отличался, не мог отличаться, ибо с самого начала он был немцем... Настолько немцем, что стоило eмy лишь раз попытаться отступиться от своих, как тут пришлось поступиться за это жизнью, причем не от своих - это было бы уж чересчур по-немецки... Молчи, молчи милый, ни слова больше... впрочем, о чем я тебя прошу!.. Тот немец, его фамилия, кажется, тоже была Аденауэр... Он ведь спас старика, спас, ус­троив его на его же мельницу перемалывать костную муку; потом ее грузили на баржи и отправляли через пролив - удобрять все тот же фатерлянд и именно старик... Не смо­три на меня так, Каракурт, словно перед тобой маркиза какая, это меня до ужаса коробит... Одно время ходили слухи, что они сговорились там в чем-то между собой - вроде как немец тащил со склада золотые коронки, а мельник запекал их в булки и таким образом они выносили их с территории лагеря - одну булку немец, другую - мельник. Война к тому времени уже подходила к концу и эти двое, по всей видимости, столковались промеж себя поделить после грядущей капитуляции все вынесенное ими золото и махнуть вдвоем при первом представившемся случае в Испанию, а, если получится - то, и в Канаду или Аргентину. Помысел усопшего! Когда лагерь эвакуировали, а немец остался, старик с чего то передумал, между ними случилась крупная ссора и – о, пугливый облик тающей на глазах мечты! - немец в итоге умер. А спустя полгода рехнулся и старик - видимо, дух немца вцепился в него хват­кой мертвого; как говорится, с гневом гнев повяжет Бог. Не пошло им, одним словом, впрок мерт-вое золото. Ничего, что я столько болтаю, горшечник? Тот не­мец … философ который, говорил, помнится, что это во мне от особой жажды общения и тут ничего не поделаешь, ведь дело касается не более и не менее как полноты наслаждения, тонкая, одним словом, штучка, у каждого оно по своему; знал он в свое время одного фельдшера, австрийца, так у того на этот счет имелась целая теория… Такие уж они дотошные люди, все эти австрийцы и немцы (а тот был еще чуточку и еврей) - дело ведь простое, если смотреть по-нашему, по-житейски. Но нет, им всенепременно необходимо на­учное объяснение, почему именно так, а не этак! А к чему вся эта кутерьма? Ты молчишь? Ты славный парень, Каракурт, скажу я тебе, хоть и монашек с виду и страшный молчун. Останься здесь со мной, пусть он уезжает - с рыданьем вторю тебе как сестра - останься! Если я когда надоем тебе, можешь меня зарезать, соглас­на, или, еще**

**лучше, продай меня кому-нибудь, хотя бы тому же префекту, а за вырученные деньги найди себе шлюху, но только с условием, чтобы та следила за Гармом, ладно? Главное, не скупись на деньги. Ты удовлетворен? Тогда продолжим. Главное, не тушуйся и не слушай, все, о чем я тут треплюсь, это мне необходимо, понимаешь? Оплот мой в горе и радости. Кому еще могу я высказать все, что во мне накипело? Я сама как этот остров - каменистый пустырь среди непо­нятно переменчивого моря. Люди здесь простоваты и туги на голову, зато в ярости не знают предела. Оно и понятно, в этакой-то глуши вся сия премудрость полностью неуместна, излишня, как говорит пастор. Так что ты слушай, умоляю те­бя, во все уши слушай или сделай хотя бы вид, что слушаешь, весь мой позор и горе. Ведь наутро ты покинешь и меня и остров, я знаю это, не перебивай... Ты уедешь, а я остаюсь, и пошлет ли еще мне судьба подобного тебе молчуна? Но ты не забывай меня, свою рябую русалку, ладно? Меня это сильно бы огорчило, убило бы во мне последнее что... одним словом, я ведь вся в свою матушку - один ссыльный художник - тот самый, что писал с нее мадонну на фресках в городском соборе – видел? - кажется, поляк из Британских ВВС. Был сбит и попал в плен, оттуда в наш лагерь, да так и остался в наших краях, пока не помер… Короче, было в нем нечто восточнославянское, гла­за вроде вороватые какие или что там еще. Сильно запал он в душу моей матуш­ке и так прилепилась она к нему сердцем, что старик вконец осерчал на нее. Особенно его разозлило, когда он обнаружил среди собственных обносков белья знакомые полосатые лагерные трусы. Oh, mein Gott! Кончилось все тем, что он выставил ее за порог чуть ли не в чем мать родила, и вдобавок вывесил на шест те злополучные польские трусы. Случилось это еще до того, как дух немца овладел им окончательно. Я помню, каждую ночь просыпалась она с криком, все ей снилось, что родила она змея, возможно и от того, что художник тот был по­ляк и бросил ее на произвол, как только охладел к ней наполовину, чтобы не путалась и не мешала впоследствии. Матка бозка! Она была уже на сносях. Мальчугана сво­его старик так и не отдал, оставил при се-бе на мельнице. Какого мальчугана? Уж очень ты недогадлив, Каракурт. Или притворяешься? Эмбла, префект наш и есть тот самый мальчуган, ибо и сам старик никто иной, как тоже Эмбла. Потом уже, когда мельницу растащили по кускам окрестные крестьяне - старик к тому времени и вовсе повредился умом на своем немце, жизнь его, надо признать, оказалась не из гладких (ну, хотя бы и эта история с поляком), да и молоть стало нечего, никто пшеницу более не сеял, потому, как хлеб стали доставлять на баржах из заграницы, обходилось это значительно дешевле, хлопот у всех заметно по­убавилось, а доставляли хлеб в обмен на рыбу, которого добра у нас во все времена было завелись - оставив бедолаге из всего разрушенного войной хозяйства лишь эту лачугу с бун­кером, он и устроил мальчугана в приют, а, может, в том постарался и местный приход, сугубо, причем, из сострадания - ведь не оставлять же и в самом деле дитя на попечении сумасшедшего? Тише, горшечник, я вся млею, чувствуешь жар моих бедер, полных томления и неги? О, Боже, где ж узда твоя, умеряющая страсти жен, их вечно живущие раны, наследие родового недуга? После того, как старик расправился с ней столь жестоким образом, матушка и стала ворожеей, злосчастная мать моя! А что оставалось ей де-**

**лать в подобном позоре, ведь надо же было как-то кормиться (благо, хоть Церковь к тому времени стала относиться к подобного рода вещам без предубеждений, время гонений на ведовство кануло незаметно для всех в прошлое; всплыли на свет божий новые ценности, что ли – гуманность, права человека и прочая, про­чая, прочая, и вообще - во всем настало время новых, либеральных отношений, даже с Москвой; церковь более не надеялась на подношения прихожан и кормилась из куда более надежной и солидной кормушки государственных дота-ций), да и я уже к тому времени успела появиться на свет. А на что иное, спрашиваю, пригодна еще бывшая жена мельника? И какого сброда я только не насмотрелась в мои детские года и все что-то да привносили с собой в наш дом, а некоторые и застревали ненадолго, если матушка на то благоволила, так что нужды мы не испытывали ни в чем, но и только. Ты плач-**

**ешь? Перестань, разве я сама не плачу, к чему лишние слезы? Одно лишь - матушка как была набожной, так и осталась - по субботам исправно посещала службы, не в главном приходе, разумеется - при всем своем текущем либерализме церковные отцы вряд ли согласились с подобным при себе кощунством, достаточно было с них и того, что не тронули фресок с ее изображением, не­смотря на острые нападки со стороны ярых клерикалов, ведь ни для кого на острове не было секретом, чей плосконосый лик был в свое время отображен в образе пресвятой девы. Не тронули, возможно, и в пику тем самым клерикалам. Но против церквушки на отшибе никто не имел возражений, хотя, разумеется, о прямом раз­решения не могло быть и речи, ведь грех моей матушки по их разумению - всем грехам грех. Го­ворят, на смертном уже одре матушка завешала все свои сбережения муници­палитету, но с одним условием и самое интересное во всем этом то, что пастор, так и не согласившийся дать умирающей последнее причастие, в этом вопросе выразил ей полную поддержку, поскольку часть завещаемых средств переводилась уже муниципалитетом в пользу церкви на текущие нужды женских монастырей. Такая вот была женщина - дай Бог мне силы хоть чуточку быть на нee похожей, мне, которая всегда считала себя благочестивей матери и где то даже чуралась ее при жизни, покамест не попала в руки этого полного ничтожества – перфекта. Не обошла она вниманием и старика, положив определенную сум­му на его отпевание, когда бы тот не преставился. Оттого то старик и ищет сейчас любой повод, чтобы убраться с острова восвояси – гордый уж больно хрыч. И если б не Гарм… Сейчас ходят слухи, будто церковь хочет вроде как поставить вопрос о ее посмертной канонизации, но это уже вопрос второстепенный, я полагаю… Но ты притомился, Каракурт? Убаюкала я тебя своей болтливостью, да? Чтож, спи красавчик, спи и прощай, мой милый и жестокий горшечник! Спит. Ну и на что ему Гекуба?**

**\* \* \***

**Испарения и холод мягко, по кошачьи вползают через поскрипывающую на проржавевших петлях дверь, бесшумно клубятся в синеватом луче фонаря, бью­щим прямо в глаза. За порогом приглушенный щебет волн, лениво бьющих о бе­рег. Коренастая приземистая фигура в кожаном плаще на пороге, чуть поодаль порога еще два расплывающихся в пахнущем свежестью моря предрассветном тумане силуэта, точно в таких же плащах. Тихие переговаривающиеся полушепотом голоса и еще один негромкий, знакомый, спокойный - "одевайтесь, время, отведенное на ознакомление, ко­нчилось. Пора решать".**

**Два гудка - длинный и короткий, как накануне. Хриплый недовольный лай разбуженного Гарма. Кровать рядом пуста и помята. На мгновение становится тихо, так тихо, что я улавливаю краешком уха доносящийся из погреба старческий храп - словно напевы подземного бога. Море по-особенному беспощадно в этих краях именно в это время. Вот и сейчас - шум извне монотонно усиливается, сверлит, накатывая на пустой песок вал за валом. "При­бой,- устало констатирует Эмбла, прислушавшись. Он с кряхтеньем опускается на подставленный услужливой рукой охранника табурет,- какая гадость!" Видимо, в темноте он**

**угодил таки локтем в селедочную жижу,- поторопись; а вы, двое, подождите нас за порогом, только не напоритесь на пса. Можете перекурить покамест".**

**"Суровые у нас края,- осторожно, робко как то проговаривает Эмбла, обращаясь в пустоту, словно опасаясь ненароком не выронить нечаянного слова. Мы некоторое время бредем по песку рядом, рука об руку. Охранники плетутся шагах в десяти позади. "Инструкция,- с виноватым видом поясняет Эмбла, пропуская меня чуть вперед,- я и без того сделал попущение, заставив их оставить нас наедине в лачуге у старика, вообще то это не полагается, но эти двое – надежные парни". Я вспоминаю вдруг трупы на песке, связанные леской из рыбьих потрохов - старик так и не показал мне обещанного приспособления. "Ты извини,-**

**продолжает Эмбла,- но так полагается. Неужели ты так ничего и не скажешь мне на прощание? А жаль, я представлял себе все несколько иначе, помнишь Энглстон?"**

**\* \* \***

**Ясная ночь на берегу высокогорного озера. Звезды что камни, усеявшие дикий пляж, бесчисленны, огромны, холодны предрассветной росой - точно вот-вот опрокинут небосвод оземь - тяжелые, страшные в своей удаленности. "Если лететь со скоростью света, то до ближайшей из них - несколько лет пути, - благоговейным шепотом сообщает Эмбла. Вода теплая, не в пример дневной и всех тянет блевать после традиционной попойки. "Ублюдки,- запинаясь, с чувством проговаривает Эмбла. И люди разбредаются по темным уголкам. Он ос­тается один на берегу. Стоит, запрокинув голову к небу. "Козел,- раздается из кустов прямо над моим ухом, потом разомлевший свистящий шепот Аски и кто-то смачно сплевывает на пол,- посмотрите-ка на ... астронавта". Приглушенный смех и подозрительная возня за крыжовником возобновляется.**

**\* \* \***

**Я пожимаю плечами. "Это весь твой багаж? Вот оно?..- Эмбла косится недоверчиво на небольшой узелок,- впрочем, извини, не то я говорю, не то. Я тебе очень благодарен на самом деле. Не знаю, чем и отплатить".**

**"Отплатить?- удивляюсь я, что то в его голосе заставляет поверить в искренность, пусть и не вполне уместную в подобной ситуации,- отплатить? Но за что?"**

**"Стало быть, есть,- даже в темноте я ощущаю присутствие знакомой дурацкой ухмылки толстых выпяченных наружу губ, чуть подернутых в уголках горе­чью,- разве Хейд тебя не посвятила? Странно!"**

**"Ты имеешь в виду русалку?- догадываюсь я,- ну, смотря что называть в данном случае посвящением,..впрочем, ты имеешь в виду?.."**

**Он и в самом деле имел в виду именно это, а я ведь почти что пропуст­ил тогда ее слова мимо ушей. Так, значит, это довольно серьезно,- старик и в самом деле уехал бы с острова, реши я остаться?"**

**"И не только это,- тон зримо изменился, это уже голос деловитого человека с оттенком превосходства от осознания того, что вдруг оказывается - он знает несколько поболее собеседника. Его отрывистое дыхание (он и раньше был не в меру тучноват, а сейчас ко всему добавились еще и годы, годы, наполнившие замысловатыми иероглифами начинающую лысеть макушку) телячьим теплом разбивается о мой затылок, отчего мне становится чуточку противно, но Эмбла не замечает или делает вид, что не замечает этого, и я молчу тоже, стараясь изо всех сил не обращать внимания. Гудки все ближе и слышней, похоже, что и чаще, словно торопят, подгоняют кого то, возможно и меня с моим почетным эскор­том – все, словно поддавшись ритму, зашагали заметно резвее. Вот еще и ещё – как раз в тот самый момент, когда мы добрались, наконец, до высохшего деревца со скелетом - все в точности так,**

**как предупреждала Хейд, моя несравненная русалочка, несмотря на ее крупные с орех оспины, разбросанные в беспорядке по всему телу, но и в том, если как следует поднапрячься, можно унюхать свой неповторимый шик. Все так, не считая отсутствия цепей на скелете. Один из охранников делает знак ру­кой и отходит чуть в сторонку - облегчиться. Останавливается и Эмбла. Похоже на пароходе на нас обратили внимание - послышался топот бегущих ног, при­глушенные отрывистые голоса, словно кто-то там спорит или переругивается на повышенных тонах, но слова мне незнакомы. "Это польское судно,- как бы угады­вает мои мысли Эмбла, застегивая на ходу брюки,- а это тот самый малый, мельник..."**

**Превосходно! Кто же в таком случае старик, если то, что лежит в несколь­ких шагах от меня и в самом деле останки от мельника? Вихрь безумный закружил вдруг в мыслях. Неужто Хейд ввела меня в заблуждение? Но тогда получается, что старик, стало быть, прав? 3мий орла попирающий! Мне отчего-то становится на миг радостно за него, и даже мазня из бункера приобретает вдруг в воспоминаниях совершенно иной оттенок, становясь как то теплее, что ли. "Что за чепуха - огорошивает с ходу Эмбла,- на этот остров отродясь не ступала нога германца, двое-трое приезжих вертопраха да еще, пожалуй, консул, еще до войны, но ведь не их же ты имеешь в виду? Война вообще обошла стороной наш остров, да об этом написано в любом учебнике истории. Лишь два раза на моей памяти (я слышал об этом от старших) случались бомбежки, да и то непонятно - то ли немцы, то ли британцы, а может и русские? Кому могла понадо­биться такая дыра! Бомбометание происходило ночью, да еще и под прикрытием тумана, где уж тут разобраться? Может, и бомбили то по ошибке, надо же было куда то сбросить невостребованный смертоносный груз. Впрочем, по счастливой случайности, ущерба от них особого не был, разве что разбомбили лишний раз церковь, оставив нетронутой небольшую пристройку с подвалом, из которой старик наш, в ту пору единственный на острове священник, духовный, так сказать, сан - люди у нас на острове приземистые, занятые в основной массе своей тем, что по жизни именуется текущими заботами, заботами о хлебе насущном по Библии, до молитв ли им, ведь самую мелочь и ту приходилось по тем временам добывать, выражаясь фигурально, в поте лица своего - и соорудил теперешнюю хижину с бункером. В те годы старик и повредился в уме - все бегал, выклянчивал средства на скорое восстановление храма Божьего, точно хворь какая насела на него, насела и кусок за куск­ом стала вгрызаться в плоть - откуда, скажите на милость, можно было выцарапать средства на все это? На материке про нас забыли, ведь шла война и война нешу­точная. Что выжмешь из прихожан, разве что на отхожее место. Между нами, те скорей всего обрадовались столь меткому попаданию бомбы (погиб, кажется, только один человек, да и тот - местный дурачок, забравшийся бог весть по какой причине в приход, воспользовавшись, по всей видимости, тем, что священник уехал в тот самый день погостить к сестре в город). Ибо руины растаскали буквально в считанные дни, в муниципалитете не успели даже ахнуть, не то чтобы подбить убытки. У одного протекал коровник, другому требовалась срочно подпорка для крыши, третий - вообще про запас, ведь кроме дикой травы на острове ни глины, ни камня, а дерево в нашем климате гниет за считанные годы. Так что у кого что наболело, ты же знаешь крестьян! Святой отец наблюдал за всем скрепя зубы, но когда появился злополучный мельник и попытался отодрать от цоколя распятие с Христом-спасителем - тоже ведь мужлан, берешь, так бери, не нужен постамент - отобьешь попозже - не говоря уж о том, что и постамент явно бы сгодился в хозяйстве, но нет, мужик, он, видишь ли, с совестью, постамент ему, мол, не нужен, а распятие (представляешь, все это он так и выложил остолбеневшему патеру) - позарез: он выставит его в огороде, пускай освящает там урожай, не бегать, мол, ему всякий раз в церковь в посевную, ну и, вдобавок, послужит заодно пугалом от ворон... По наивности душевной, дурак, видимо, рассчитывал еще и на благословение – все, мол, тащут, а он так сказать, с позволенья, да к тому ж без лишнего. Бедняга малость ошибся в своих расчетах - подобного кощунства пастырь не вынес и прикончил свою овечку, чем бы, ты думаешь? Большими огородными ножницами. С того и повредился…**

**Вновь затишье - доколе? Долгая пауза, перемежаемая шумом прилива. Холодный Беспер над холодным до слез северном морем, точно ее улыбка, улыбка, обна­жающая тоску женщины под суровым северным небом, тоску русалки по знойному югу, Испании, к примеру, где она, впрочем, не вынесла бы и дня. Она и есть сама тоска, северная неказистая с корявыми соснами и морями без пляжей: одни ту­маны, долгие призывные гудки пароходов, не покидающих пристань, и мелкий не­скончаемый дождь. Её улыбка... добро, прозябающее на лице земли.**

**"Бесполезно, думаю, уверять тебя в чем либо,- говорит Эмбла,- правы мы или бессердечны, но мы таковы, какие есть, не надо мерить нас закостенелой меркой чужих добродетелей – дому нашему не потребен чужой врачеватель. Да что я распинаюсь тут пред тобой будто ты и в самом деле чужак? Не веришь? Как же мог ты забыть?"**

**Бурое море, катящее волну за волной – точно седые всадники на бесконечный серый песок, его полоску, вытянувшуюся вихляющей петлистой линией, исчезающей за горизонт, полоску отгороженную развалинами кирпичной, местами замшелой стены. Мальчик у окна с узорной решеткой. Сидит, подперев ладошкой щеку, сирый, похожий на жеребенка. Густой запах картофельного водянистого пюре - рабий хлеб в неволе. Пронзительный крик чайки и гудки… гудки… гудки… Неу, bоу,- окликает воспитатель (словно полоснули медножилым бичом по щеке) - не твоя ли постель осталась сегодня неприбранной в третьем дортуаре? В следующий раз... "Поведай ж, что знаешь, коль умней меня, ну же! "**

**«Ты забыл,- ликует Эмбла,- нет, ты не чужак, ты хуже. Изменник, позабывший собственную мать и отца. Отщепенец, не имеющий своего Дома, и именно потому ты уезжаешь: у тебя нет выбора, нет никакого выбора. И решение муниципалитета здесь не при чем, хочешь, я порву его на твоих глазах? Глупец! Мы ведь что хотели - переложить на себя ответственность за твой, по сути, выбор, чтобы тебе было на кого переложить вину, свою вину - ее мы добровольно взвалили на свои плечи, чтобы хоть как то облегчить твою жизнь там, на чужбине. Но хватит! Мы не позволим тебе отныне глумиться над нами - ты даже не сможешь сказать, что тебе и не предлагали. Вспомни старика. А Хейд? Разве она не заклинала тебя остаться, твоя с...?»**

**Эмбла недоговаривает и утыкается лицом в помятый носовой платок. "Я всего лишь администратор,- лопочет он побелевшими губами,- о, Господи, ты ведь знаешь об этом! Администратор, выполняющий свой служебный долг. И я – с этого острова, вот в чем загвоздка. О, если..."**

**"Все бесполезно,- а с чего мне жалеть его слезы, притворные слезы кроко­дила,- ты толкуешь тут, как я понимаю, о чести. Ты, который… Как ты мог? Не смотри на меня так, чудовище, Хейд мне поведала обо всем, ты понял меня? Обо всем! Она была твоей любовницей. Или скажешь мне, все это басни, россказни убогой женщины? Ну, ну, с тебя еще станется...Ведь ты и она… Нет, и ты великодушно принимаешь на себя еще мою вину? Лицемер! Загляни в свою душу, столь ли она безгрешна, чтобы позволить себе и это? Остров разврата и скот­ского непотребства. И ты еще полагаешь, что я мог бы и остаться? Суди сам, в моих ли силах не испытывать омерзен…"**

**"Стоп!- Эмбла властно поднимет правую руку, и я вдруг обращаю свое внимание, что она в перчатке,- довольно! К чему эта твоя истерика? Может, это ты здесь префект? Вроде как нет, тогда в чем причина? Или Хейд проси­ла тебя – о, притворщица – заступиться? Молчишь! Ты так-таки снова не понял, чтож, попробуем иначе. Здесь, на острове, у каждого свой род, свой мир, свой остров в некотором плане. Старик вовсе не кривит душой, когда пытается выдать себя за немца, в определенном смысле так оно и есть, он и в самом деле ощущает себя**

**немцем на своем острове. Что с того, что здесь никогда и не пахло самым за­худалым концлагерем: это уже мой мир, твой даже, но не старика - в его теперешнем мире он, лагерь, был всегда со всей своей чудовищной реальностью. Это факт со­вершенно иного времени, иного пространства и если на то уж пошло - вовсе иных измерений, лишь с виду похожих на наши. Впрочем, тебе ли дано понять наши затемненные души? Слишком долго тебя не было среди нас, ты и в самом деле превратился в чужака, словно гадкое огромное насекомое для**

**нас. И сейчас пытаешься еще чинить свой суд? Хейд сказала тебе, что старик – это Эмбла, ведь так, признайся! Так, так, иначе ты не прикидывался бы золотым петушком. Скажи мне, почем тебе известно, что то, что говорит Хейд, соответствует действительности? Ведь это всего лишь подслушанные тобой чужие слова, причем из мира Хейд, да и вообще неизвестно, насколько она искренняя с тобой. А если и не лжет, разве не может случиться, что за всем этим кроется лишь чье то роковое заблуждение, к тому же не разобрать и чье? Ведь сам старик считает себя немцем, Хейд - Эмблой, а я - священником. Кто из нас прав? Не логичней ли предположить меня, поскольку мне это положено по должности - знать больше, чем прочие. Но разве тебя ин­тересуют все эти нюансы, составляющие полную картину истины? Ведь ты конс­труируешь для себя свой мир, свою действительность, которая более всего подходит твоему самолюбию, благо фактов для того предостаточно, а то что случаются порой и противоречия, так их можно списать на несовершенство самого Мира, не так ли? Нет, в этом ты воистину сын нашего острова, хоть и кичишься тем, что не переносишь его ни на дух, не догадываясь о том, что некованые путы, пожалуй, покрепче медных уз. Ибо и мы от него не в восторге и получается, что вдоба­вок ко всему нас связывает с тобой еще и общая ненависть. Ты же даже не смог по достоинству оценить великодушия острова, позволившего тебе убраться прежде, чем тебе раскроется ужасная истина. И, вместо благодарности ты осмеливаешься еще выстраивать жалкие обвинения? Руки!"**

**"Так будет спокойней для всех,- бесстрастно комментирует Эмбла, защелкивая на запястьях наручники,- может, позже их с тебя снимут, может, нет, только меня уже это касаться не будет. Да к тому же тебе это все равно, не правда? Вы вольны уйти,- бросает он охранникам,- убирайтесь!" Те понимают не сразу, a поняв, радуются, словно малые дети, отпущенные с последнего урока. "Ублюдки,- с нежностью в голосе произносит Эмбла, ни к кому не обращаясь, - ублюдки..."**

**"Мы у конца,- продолжает он спустя минут двадцать. И в самом деле – огромная махина из железа и стали высится небоскребом перед самым носом. Несмотря на ранний час, во многих иллюминаторах светятся огни, а с палубы доносится чье-то пьяное пение, заунывный утраченный гимн. Ему вторят с мостика унылым тихим плачем, вызывая смятение окрест. Кто эти жены в черном рубище, снующие вдоль поручней? Этот огромный океанский лайнер, как только удалось ему стать здесь на якорь?- причал из самых примитивных, простой мостик, заканчивающийся ничем через два-три десятка метров, грубо сколоченный из засмоленных бревен: судя по их виду сюда, в это самое место, причаливали еще ладьи викингов. Что то хлюпается в песок совсем рядом - веревочная лестница. Сверху кричат на все на том же тарабарском языке, не разобрать и слова. "Торопятся, неуверенно полушепотом объясняет Эмбла,- но минут пять еще есть в нашем распоряжении. Слушай же. Ты уезжаешь и более к нам не вернешься, я это знал, знал всегда, знаю и сейчас, и не спорь со мной, довольно об этом. А теперь, чтобы ты знал. Здесь у каждого своя правда, может, я и повторяюсь, но, думаю, вовсе не излишне. Не знаю, интересует ли тебя или нет, но как префект, могу сообщить тебе кое-какие факты, которые я в последний раз освежил в своей памяти, буквально накануне. Не стану утверждать, что они совершенно достоверны, замечу лишь, что взяты они из архивной картотеки муниципалитета. Только не требуй у меня никаких объяснений, на них просто не осталось времени. Что не поймешь, домыслишь на досуге, его у тебя будет предостаточно. Пов-**

**торяю, то, что я сейчас тебе раскрою, вовсе не сама истина,- хотя, вполне возможно, что это так и есть на самом деле,- а факты из городской картотеки и принуждает меня к этому не должность властителя или чья-то просьба, а веление сердца. Хейд и ты - брат и сестра, а сам я, Эмбла, сын священника".**

**Он умолкает, потрясенный собственным сообщением - по лицу видно: бледное, как саван. Сердце лихорадочно бьется в силках, умерь же уздой его дикий бег. "Хочешь доказательств – оглянись!"**

**Я смотрю в сторону оставленной хижины, плотоядная пасть огня вырывается языками из дверей, окон, слухового отверстия под крышей. Слышится надрывной, усил­ивающийся с каждой секундой лай Гарма и обрывается на самой высокой ноте. "Что это?- спрашиваю с испугом. "Конец,- смакует, точно упиваясь непонятной запрятанной в глубинах души местью Эмбла,- она ждала тебя слишком долго, злосчастная, постарайся по­нять хоть сейчас. Но поскольку ты так и не сумел во всем толком разобраться (какое там!- ты даже не предпринял и жалкой попытки), то Хейд - злосчастная душа - она нашла решение на свой манер. А впрочем,- добавляет он с горькой усмешкой,- меня это даже устраивает отчасти. Старый Эмбла в последнее время стал совершенно несносен. Теперь же мне остается лишь пристрелить пса".**

**"Что с Хейд?- рвусь я обратно. "Стой!- хватает меня за полу Эмбла, сирый ветер злобы раздувает его волосы,- стой! Ты и в самом деле оказывается идиот! Неужели ты не понимаешь, где она сейчас? Твоя патетика просто смешна, право. Да и чего ты лезешь сейчас из кожи – никому не дано прожить свой век неповинным. Заруби это и полезай сию же минуту на корабль".**

**"Только одно,- я смотрю пристально в его стальносерые глаза, и на сей раз он не отводит взгляда,- скажи, как умерла моя мать?"**

**Голос мой хрипит, словно урчанье Гарма. Подступивший к самому сердцу ужас заводит победную песнь, накрывая мраком душу. "Элементарно,- жмет плечами Эмбла,- Хейд решила за тебя и эту проблему. Понимаешь, она так и не простила ей измены..."**

**"И ты это знал,- кричу я,- знал, да?"**

**"Иди, тебя ждут,- он кивает наверх,- ничего это не меняет. Что суд людей? Успех им Бог и больше бога. Прощай".**

**Гарм лает громко**